

Голливудский циник с сибирским именем

— Так вас надо называть Андронимом или Андреем?

— Крещен я Андреем. А Андроним — это сибирское имя, которым звал меня дедушка. Просто игрался.

— По какому поводу вы сейчас в Москве?

— Я приехал и в Москву, и в Петербург. В Петербурге у меня идет «Война и мир» в Мариинке. В Москве я поддерживаю предвыборную кампанию Валерия Драганова. Я его доверенное лицо.

— Как это получилось?

— Как получилось? Да, в общем, довольно странно. Вы знаете, кто такой Драганов?

— Бывший председатель таможенного комитета.

— Да. Мы познакомились несколько лет назад, когда я попросил его оказать мне одну любезность — помочь с провозом английской мебели. Книжку ему подарил...

— И он, разумеется, помог.

— Отказал. С тех пор мы подружились. Стали часто видеться. Он очень симпатичный человек. Тем более, военный.

— Вы, как и ваш брат, тоже не равнодушны к военным? Это у вас фамильное?

— Да. Я люблю военных. В России они необходимы. Нам сейчас надо побольше военных у власти. В Думе, в правительстве.

Точнее, так, бывших военных с опытом государственной работы. Военные — это люди, которые четко исполняют приказы и верны своему слову. Они привыкли к порядку, что очень важно для России. У меня Ася Клячина говорит: «Какая ж демократия, если нет порядка?». Демократия без порядка — это бардак. Что мы приблизительно и имеем.

— Ваши слова очень напоминают выступления Никиты Михалкова...

— Я не знаю, как и по поводу чего выступает Никита Михалков.

— Не интересен?

— Ну, просто он здесь сидит, я там... Что касается нашего совпадения... Россия, во всяком случае до революционной Россия, держалась на офицерском корпусе.

— Дореволюционная Россия плохо закончила.

— Так все закончилось плохо не потому, что офицеры были плохие.

— Вполне вероятно. Но, может быть, сама система военного, полицейского государства оказалась слишком уязвимой?

— Не думаю. Скорее всего, катастрофа произошла, потому что накат западных идей в итоге захлестнул и офицерство. Начиная с декабристов.

— У меня было представление о вас как о западнике.

— Я не почвенник и не западник. Я не верю в то, что Россия может быть западной страной.

— Тем не менее в ваших книгах прослеживаются явные симпатии к Чаадаеву.

— Ну да. Так ведь Чаадаев тоже не верил в возможности России стать западной страной. Он хотел, он мечтал, это другое дело. И когда понял, что его мечта не осуществима, он сказал: «У России нет будущего». В отличие от Чаадаева, я не такой пессимист. Я считаю, что у России есть будущее, но только ориентированное не на Запад.

Есть такая наука — культурологический детерминизм. История культур и обусловленность, если хотите, предначертанность судеб народов и государств в зависимости от их культуры. Культура — это весь комплекс ценностей, внутренних законов и неписанных правил, согласных которым человек живет. Сюда включаются отношения со смертью, с Богом, с мамой, с женой. Сюда включается персональная анонимная ответственность перед обществом, вплоть до правил поведения в публичных туалетах... Иногда это еще называют ментальностью. Так вот, в русской ментальности нет никаких предпосылок, сулящих, что она могла бы изменить свою культуру на западную.

У нас не Италия и не Франция. Я сам, наверное, человек западный, но кричать: «Я хочу, чтобы в России было, как на Западе», — то же самое, что заявить, будто можно посадить пальмы на Северном полюсе. А того, кто скажет, что пальмы на полюсе не вырастут, можно обозвать пессимистом.

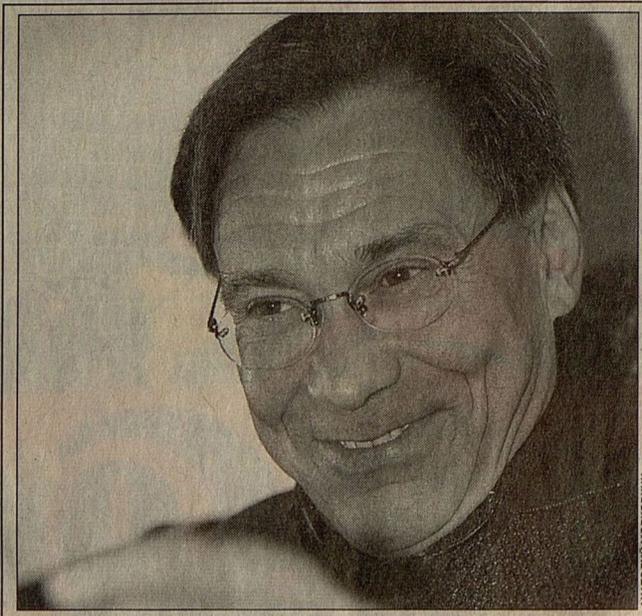
— И даже циником...

— Наверное, я циник. Я считаю, что добро — это чудо. Я не удивляюсь, если у меня что-нибудь украдут. Но очень удивлюсь, если мне кто-нибудь что-нибудь даст.

— Сколько вы еще пробудете в Москве?

— Улетаю послезавтра. Надо заканчивать сценарий. Я пишу сценарий о Марко Поло. Уже есть договоренность с Антонио Бандерасом. Но мне скоро предстоит вернуться в Петербург, ставить «Войну и мир».

— Да-да, кстати, как обстоят дела с «Войной и миром»?



АНАТОЛИЙ МОЖЖЕВИН

Что известно об Андрее Кончаловском широкой российской общественности? Что у него два имени — то ли он Андрей, то ли Андроним. И две фамилии, объединенные в одну полностью: Михалков-Кончаловский. Что у него голливудская внешность и соответствующее место обитания. Что он брат своего брата и сын своего отца. И, как легко понять из нижеследующего текста, хоть и является западной ветвью семьи, это достойный сын и достойный брат. Гармония Михалковых расстояниями не нарушается.

— Хорошо обстоят. Тяжело, конечно, но интересно.

— Когда должна состояться премьера?

— По идее весной. Январь, февраль — репетиции.

— Вы по-прежнему считаете, что кино в России должен снимать только Евгений Матвеев и ему подобные?

— Просто Женя Матвеев — это человек, снимающий по-настоящему русское кино. Которое хочет смотреть массовый зритель. Я тоже снимаю русское кино, но мое русское кино массовый зритель смотреть не станет.

— А «Сибирский цирюльник», на ваш взгляд, это массовое кино?

— Да, конечно, массовое.

— Вам фильм понравился?

— Не могу сказать, что он мне понравился больше, чем другие Никитины картины, но какие-то вещи мне в нем очень близки.

— Какие, например?

— Мне очень нравятся сцены в Кремле. С императором. И по смыслу и по чувству, и по ощущению какой-то торжественности, причастности. Эта фраза: «Берегите русского солдата»... Там есть простота, ясность и государственность. Что касается других вещей, то Никита Сергеевич имеет свое представление о России. Опоэтизированное. Идеализированное. Он призывает нас вернуться к неким истокам, которые на самом деле не были так чисты и прозрачны, как ему кажется. Достаточно почитать классику, чтобы в этом убедиться.

— Но вы сами ведь только что настаивали по прошлой России, по значению офицерства...

— Я ностальгировал по значению офицерства, но вовсе не утверждал, будто в старой России существовало гармоничное общество. Грязная, немая, темная масса людей...

— Но, может быть, все-таки одно с другим как-то связано? В том смысле, что ужесточение режима приводит только к умножению, ну пусть не грязных, в сталинские времена, скажем, все умывались, но уж темных-то людей точно?

— У вас чрезвычайно западная и, я бы сказал, идеалистическая точка зрения. Она политически корректна, но опровергается всем ходом истории. Если вы возьмете две страны, имеющие с нами давние и прочные связи, — Индию и Китай, вы увидите, что в Индии, где тридцать лет демократии, детская смертность достигла чуть ли не двадцати процентов и девяносто два процента населения неграмотны. А в Китае, где жесткий режим, смертность детей сведена до нуля и поголовная грамотность. В Грузии, например, демократия привела к тому, что бывший диссидент, образованнейший человек, сын писателя, стал палачом интеллигенции, и потребовался военный переворот, чтобы как-то спасти страну.

— Но грузинский народ все равно вернулся к демократии.

— Я говорю, что иногда для того, чтобы спасти демократию, требуется ужесточение режима. Я не сказал, что жесткий режим должен быть раз и навсегда. Навсегда вообще ничего не бывает. Но на сегодняшний день это необходимо. В России нет никаких демократических традиций.

Смотрите, что происходит сейчас. Вот вам еще одна попытка. Окончилась она тем, что властьрослась с криминалом, полиция коррумпирована, налицо выходит страшно.

— По-моему, значительно страшнее наших улиц ваши слова.

— Почему страшнее? Вы испорчены западными идеями.

— Просто вы послезавтра улетите, а я останусь. Я хочу жить здесь. Но, конечно, желательно не в авторитарном государстве.

— Почему? Почему вы хотите жить не в авторитарном государстве? Кто вам сказал, что будет плохо? Что у вас отнимут? Ужесточение режима не предполагает нарушения прав и свобод человека. Оно предполагает усиление ответственности за исполнение закона.

— Но подобная ответственность существует и в демократических государствах.

— Да, там законы работают. А у нас нет. Демократия — это прежде всего участие народа в управлении государством, вы согласны?

— Да.

— Участвует ли сейчас российский народ в управлении государством?

— Сейчас — нет.

— А когда он участвовал?

— По-моему, никогда.

— Правильно. А ведь Ленин пытался привлечь его к этому виду деятельности. Он мечтал, чтобы каждая кухарка научилась управлять государством. Не получилось ни-чего. Да потому, что народ сам этого не хочет. Управление государством не входит в его систему ценностей. Как вы можете заставить его жить при демократии, если он не хочет управлять? Нельзя же палкой загнать?..

Поймите, я говорю не о том, чего бы мне лично хотелось, а о том, как обстоит дело в реальности. Давайте исходить из реальности и не мучить себя и не терзать себя вечными нашими иллюзиями, что вот-вот наступит царство Божие. Оно всегда за углом. А зашел за угол — и опять или воры, или что-то еще, и опять кто-то виноват.

Вы зря думаете, что ваша жизнь в этой стране без демократии будет криминалом и ужасом. Вы сами не заметите, как вам вдруг станет удобно от того, что полиции много, что в подъездах чисто, и если к вам, Боже упаси, кто-то пристанет, его потащат в каталажку...

Логическое развитие русской нации — это довольно авторитарный режим, со свободой передвижения, свободой предпринимательства, с законами, которые соблюдаются, с уголовной ответственностью за взятки, с расстрелом за использование служебного положения для личного обогащения...

— Вы настолько кровожадный человек?

— Что значит «кровожадный»? Почему у нас ввели мораторий на смертную казнь? В Америке она есть, в Китае она есть. Страх смертной казни, может быть, заставит, наконец, чиновников отказаться от криминала. Человек, который обокрал банк, застрелив кассира, для меня более порядочен, чем человек, сидящий в министерском кресле и рассуждающий о благе народа.

— Хорошо бы на секунду вспомнить про кассира. Неужели убийство человека кажется вам преступлением меньшим, нежели мздоимство?

— Нет, смертная казнь за убийство — это само собой. Это не обсуждается.

Мне важно вас убедить, потому что я так же, как вы, думал тридцать лет назад. Мне важно, чтобы вы почувствовали, что это совсем не беззисходность, а естественное развитие событий. Ведь в Индии, предположим, тоже живут художники, пи-

сатели, журналисты. И в Мексике есть своя творческая и интеллектуальная элита. Они ездят по миру, они одеваются лучше нас с вами и наслаждаются жизнью. Только знают, что вот это нельзя и вот это нельзя.

— Если у «творческой и интеллектуальной элиты», по вашим прогнозам, впереди такая безмятежность, оставайтесь. Проверьте на себе.

— Я хочу здесь жить, но я не могу здесь работать. Мне надо кормить много детей, я должен зарабатывать деньги. Если бы здесь у меня была возможность снимать картины, я бы остался. Но я написал три сценария — «Рахманинова», «Дом дураков», «Щелкунчика», написал, потратил массу времени, а снимать не могу — большие деньги нужны. Вот жду, когда Никита Сергеевич закончит свои реформы...

— Кстати, под него ведь деньги дают.

— Под него дают на Западе.

— Но снимает-то он в России.

— Да. Ну под него дают, а под меня нет. У меня не получается. Потом он снимает американских актеров, я так не хочу, я хочу снимать русских.

— Так чего вы ждете от реформ, которые он пытается проводить в качестве председателя Союза кинематографистов?

— Восстановления и регулирования рынка прежде всего. 150 миллионов человек сидят и ждут, когда можно будет заплатить деньги и посмотреть кино. А система разрушена. Я считаю, кинотеатры должны быть ренационализированы. Их строили на деньги налогоплательщика, а теперь там черт знает что — автосалоны, публичные дома. И гигантские деньги — 250 миллионов долларов в год — уходят в частный карман. Теперь попробуйте с вашими демократическими подходами эти деньги вернуть государству. Думаете, они отладут?

— Сомневаюсь.

— Значит, кто нужен? Нужен человек в форме, который придет и скажет: «Все, кончай базар».

— Не теряю надежды повернуть нашу беседу в более мирное русло. Андрей Сергеевич, какое место на земле вы считаете сейчас своим домом? Говорят, у вас родился шестой ребенок?

— Да...

— Когда это случилось?

— 28 сентября.

— И кто родился?

— Маша. Маша родилась.

— Где это произошло?

— Там, где я сейчас работаю, — в Лос-Анджелесе. А дом вообще у меня здесь, где мы с вами разговариваем, вот эта квартира на Малой Грузинской.

— Из обеих ваших книг меня, честно говоря, по-настоящему тронула только последняя глава «Возвышающего обмана» под названием «Она». Женщина действительно может стать основным содержанием вашей жизни?

— Вы имеете в виду женщин вообще или Юлю?

— Мне как раз интересна та эволюция, в результате которой для вас мир поделился на «женщин вообще» и вашу нынешнюю жену.

— Вы знаете, это очень сложный вопрос. Если бы я писал свои книги постепенно, год за годом, на протяжении тридцати лет, то, может быть, мои взаимоотношения с какой-то другой женщиной — Ширли Маклейн или Наташей Аринбасаровой — были описаны с таким же свежим чувством. Но книги писались в тот момент, когда у меня начался именно этот роман, и поэтому в Юле сублимировались мои чувства к женщине вообще. Это в какой-то мере собирательный образ.

Но, конечно, с Юлей особая история. Разница в наших возрастах делает меня очень уязвимым. Я же не сумасшедший. Я понимаю, что нахожусь не в первом акте своей жизни, а в третьем...

— Если не секрет, какая у вас разница?

— Сейчас... Семьдесят третий... Тридцать четыре года.

— Когда вы в Москве, вас часто можно встретить в театре. У вас есть какие-то определенные театральные пристрастия? Что вам нравится?

— Навероятно, но ничего не нравится. Последний спектакль, который привлек на меня очень сильное впечатление, — «Смертельный номер». С тех пор я не видел ничего такого... Такого, чтобы наотмашь. Я, кстати, собираюсь поставить спектакль.

— Драматический? Неужели?

— «На дне». Нина Садур написала вариацию.

— Это уже реальный проект?

— Реальный, просто время нужно. И наконец-то Артемьев заканчивает рок-оперу «Преступление и наказание». По-моему, очень актуальная сегодня вещь для России.